

П.Д. Боборыкин

Проездом

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
П11

П11 **П.Д. Боборыкин**
Прездом / П.Д. Боборыкин – М.: Книга по Требованию, 2021. – 64 с.

ISBN 978-5-4241-2214-9

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня...требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки...русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.

ISBN 978-5-4241-2214-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© П.Д. Боборыкин, 2021

Петр Дмитриевич Боборыкин
Проездом

I

— Когда поставлен этот памятник? — спросил барин, сильно за сорок лет, в светлом пальто, у стоявшего с ним молоденького студента в сюртуке, в очках, по всем признакам, только что надевшего форму.

— Который? — переспросил его студент и застенчиво оправил очки.

— Да вот! — и барин указал на памятник Ломоносова через решетку двора нового университета на Моховой.¹

— Не могу вам сказать.

Студент неловко взял вбок и удалился торопливою походкой.

«Хорош, — подумал барин, — этого не знает даже».

Да и памятник вызвал в нем пренебрежительное движение тонких, бескровных губ.

Вадим Петрович Стягин был дурен собою: сухое тело, сутуловатость при очень большом росте, узкое лицо с извилистым длинным носом, непомерно длинные руки, шершавая, с проседью, борода и желтоватые глаза, обведенные красными веками.

Одевался он по-заграничному, носил высокую цилиндрическую шляпу, белый фуляр² на шее, светлое, английского покроя пальто и башмаки с гетрами на толстых подошвах. Он упирался на палку с серебряным матовым набалдашником.

Теперь он шел домой, на Покровку. Сейчас заходил в Румянцевский музей,³ так, от безделья, — не отыскал ни переулка, ни даже дома, где, по его соображению, должен был проживать его приятель и товарищ по университету Лебеядцев.

На памятник Ломоносова Стягин посмотрел еще, пристально и с оттянутой книзу губой, — мина, являвшаяся у него часто.

«Это полуштоф какой-то! — мысленно выговорил он. — Что за пьедестал! Настоящий полуштоф с пробкой... Точно в память того, что российский гений сильно выпивал!..»

Недобрая усмешка искривила рот Стягина, и он пошел развихленной походкой, гнулся на ходу и начал вертеть палкой.

Стоял чудесный сентябрьский день после дождливого, холодного времени, захватившего Стягина на железной дороге.

Несмотря на погоду, Вадим Петрович чувствовал в ногах какое-то необычное жжение и колотье, которые мешали ему идти скорее.

Вообще он был в брезгливо-раздражительном настроении. Эта Москва и сердила, и подавляла его. Он попал сюда по пути в деревню из-за границы, где проживал — с редкими возвращениями в Россию — почти всю свою жизнь, с молодых годов, с той эпохи, как кончил курс в Московском университете.

Никогда еще, попадая сюда, не испытывал он такого брезгливо-раздраженного чувства к этому городу, ко всему своему, «руссопётскому», как он выражался и вслух, и про себя.

Он приехал «ликвидировать», продать свой дом на Покровке, стоявший второй год без жильцов, продать имение, в крайнем случае, сдать его в аренду.

Надо будет ехать в имение, если он поладит с одним из арендаторов. Все это

скучно, несносно и его поддерживает только то, что, так или иначе, он покончит, и тогда всякая связь с Россией будет порвана, никакого повода возвращаться домой... Надоело ему выше всякой меры дрожать за падение курса русских бумажек. Один год получилше пятьдесят тысяч франков, а другой и сорока не выйдет... Свободные деньги он давно перевел за границу, купил иностранных бумаг и полегоныку играет ими на парижской бирже.

В Париже у него годовая квартира, особняк с садиком, в Пасси. Он держит свою кухарку и грума,⁴ ездит верхом на собственной лошади, выписанной из России, потому что у нас они втрое дешевле.

Он не холостой и не женатый, живет на два дома; но вот, после ликвидации своих дел, можно будет построить свой собственный коттедж в окрестностях Парижа и зажить домком, покончить с своею полухолостою жизнью...

Но когда это будет?.. В России все так тянется, кредиту нет, денег нет, всякие сделки с ужасными проволочками.

«Отвращение!» — вскричал Вадим Петрович про себя, все сильнее раздражаясь на Москву.

Его взгляд остановился на двухэтажном доме около манежа, где когда-то помещался знаменитый студенческий трактир «Великобритания».

Неужели и он, в конце пятидесятых годов, когда из подростка-барчонка превратился в студента, надел треуголку и воткнул в португую шпагу, любил этот город, этот университет, увлекался верой в «возрождение» своего отечества, ходил на сходки, бывавшие в палисаднике позади здания старого университета?

Да, все это он проделывал. Участвовал даже в истории, в схватках с мастерами, там, где-то далеко, около Яузского моста, где стоит церковь, — кажется, она во имя архидьякона Стефана?

Прошли годы. Порвались и всякие родственные узы. Родители умерли, родственников он недолюбливал, сохранил только почтительное чувство к бабушке; она пережила его мать и отца; от нее ему достался дом на Покровке и капитал в несколько десятков тысяч.

И вся его связь с Москвой сводилась к нескольким домам из дворянского общества, да к товарищу по факультету, Лебеяднцеву, чудаку, из разночинцев, с которым он готовился к экзаменам и ходил на охоту... Товарищи дворянского круга разбрелись. Кое-кто живет и в Москве, но все так, на его взгляд, поглупели и опошлели, несут такой противный патриотический вздор...

Вряд ли он к кому-нибудь из них и поедет в этот приезд.

Да вот и Лебеяднцева он не мог отыскать. Адрес он затерял, думал найти на память; из-за потери адреса и не предупредил его письмом из Парижа. Надо будет посылать в адресный стол.

Вадим Петрович подходил к Охотному ряду и завернул книзу по Тверской. Куда он ни смотрел — отовсюду металась ему в глаза московская улично-рыночная сутолока; резкие цвета стен, церковные главы, иконы на лавках, вдали Воскресенские ворота с голубым куполом часовни и с толпой молящихся; протянулись мимо него грязные, выкрашенные желтою и красною краской линейки с певчими и салопницами, ехавшими с каких-нибудь похорон... Слева от него — он шел правее по тротуару — провели, посредине, двух арестантов с тузами на серых халатах, а два конвойные солдата в обшарханных и пожелтелых мундирах смотрели так же похмуры и жалко, как и колодники. Извозчики с покосившими-

ся дрожками, ободранные, на клячах, пересекали ему дорогу, когда он поднимался вдоль Исторического музея на Красную площадь.

Сверху стены Кремля башни, золотые луковицы соборов высились над ним, как нечто чуждое, полуварварское, смесь византийщины с татарской ордой.

«Это Европа? — спрашивал он себя. — Это находится в одной части света с Парижем, Лондоном, Флоренцией?.. Allons donc!⁵ Это — Ташкент, Бухара, Средняя Азия!»

И ему не казались банальными его возгласы. Он в этот приезд сильнее, чем когда-либо, сознавал в себе западного европейца, со всею беспощадною требовательностью человека, изверившегося в свое отечество, принужденного поневоле проживать тут, в этой псевдо-Европе, не потрудившейся даже хорошенько принарядиться.

Он шел мимо полуразрушенного Гостиного двора и железных временных лавок, и усмешка пренебрежения и постоянного недовольства не сходила с его губ.

В теле он ощущал странное утомление, но взять извозчика не хотел. Ему противно было сесть в грязные дрожки, толкаться из стороны в сторону по отвратительной мостовой.

Еще схватишь какую-нибудь заразительную болезнь. На извозчиках перевозят тифозных мастеровых и мужиков.

— Ну, город! — выговорил Стягин и ускорил шаг по Варварке.

II

Вадим Петрович проснулся поздно, с головной болью и ломом в ногах. Он спал в обширном, несколько низковатом кабинете мезонина. Нижний этаж его дома стоял теперь пустой. В мезонине долго жил даром его дальний родственник, недавно умерший. С тех пор мезонин не отдавался внаем и служил для приездов барина.

Просторный покой смотрел уютно, полный мебели, эстампов по стенам, с фигурным письменным бюро. Всей мебели было больше тридцати лет; некоторые вещи отзывались даже эпохой двадцатых годов — из красного дерева с бронзой. В кабинете стоял и особенный запах старого барского помещения, где живали всегда холостяки. Ничто и в остальных комнатах, — их было еще три и ванная, — не говорило о присутствии женщины.

Лежа на турецком диване, служившем ему постелью, Стягин оглядывал кабинет глазами, помутнелыми от мигрени и лома в обоих коленях. Солнечные полосы весело пересекали стену, пробиваясь из-под темных штор, но они его не веселили.

Вчера остальной день его прошел так же безвкусно, как и утро. Тот господин, который вел с ним переписку по делу аренды, не явился, заставил себя прождать. Перед обедом зашел Стягин к трем барыням, на Сивцевом Вражке и на Поварской. Двух не было еще в Москве — не возвращались из деревни; третья так постарела, обрюзгла, несла такой претенциозный и дурно пахнувший патриотический вздор, что его чуть физически не затошнило. В клубе он приказал записать себя на имя одного барина, которого тоже не оказалось там. За обедом он не встретил ни души знакомой. Против него, за столиком, громко жевали какие-то москвичи неприятного для него вида: не то дворянящиеся разночинцы, не то адвокаты, смахивавшие на артельщиков. Их дурная манера есть, их смех, прибаутки, выражение лиц — все ему было противно и мешало есть. Да и аппетита не было. Он находил все жирным, тяжелым, варварским.

Вечер провел он в театре, в одном из частных театров, где то, что давали на сцене, казалось ему тусклою и тягучею повестью в лицах, с неизбежным пьяным разночинцем, говорящим грубости во имя какой-то правды. Публика возмущала его еще больше пьесы и актеров. Она смеялась от пошлых острот и кривляний актеров, вызывала бестактно и бесцеремонно, после каждого ухода, своих любимцев; в антрактах шаталась по фойе, поглощала водку, курила так, что из буфета дым проникал в коридоры и ходил густыми волнами. К концу спектакля что-то донельзя ординарное, грубое и глупое начало душить его. Он почти с ужасом спрашивал себя в антрактах: «Неужели я мог бы скоротать свой век среди такой культуры, не будь у меня средств жить, где я хочу?»

А ведь это могло очень и очень случиться. Вон его товарищ Лебеядцев прокоптел же двадцать с лишком лет в этой Москве!

И теперь, лежа на турецком диване под своим дорожным одеялом, Вадим Петрович и во рту ощущал горечь от вчерашнего дня, в особенности от театра с его фойе, буфетом и курилкой. Никогда и нигде публичное место так не оскорбляло его своим бытовым букетом.

Он позвонил в колокольчик, стоявший на табурете. Ему прислуживал дворник,

добродушный и глуповатый малый, по имени Капитон, ходивший неизменно в пестрой вязаной фуфайке и в коротком пальто, которое он совершенно серьезно называл «спинжак».

И Стягину это слово казалось символическим. Он находил, что «спинжак» царит по всей этой Москве, да и всюду, по всему его отечеству. Спинжак и смазные сапоги, косой ворот или вязаная фуфайка, гармоника и сороковушка водки, зубоскальство, ругань, бесплодное умничанье, нахальное обличенье всего, на что позволено плевать, и никакого серьезного отпора, никакого чувства достоинства, желания и возможности отстоять какое-нибудь свое право.

Красное, круглое лицо Капитона, обросшее на щеках и подбородке скорее пухом, чем волосами, показалось в дверях.

— Тепло на дворе?

— Не дуже, Вадим Петрович, а припекает солнышко.

— Подай мне газеты и завари чай! Я буду пить в постели.

— Сию минуту.

От смазных сапог Капитона пахло ворванью. Этот запах преследовал Стягина повсюду и даже не покидал его обонятельных нервов там, где он не видел сапог. Но у Капитона другой обуви не было.

Дворник принес сначала газеты и сказал, кашлянув в руку:

— Левонтий Наумыч пришли... Когда прикажете позвать?.. Они там, в передней.

— Пусть подождет.

— Слушаю-с.

Левонтий — старый дворецкий его родителей, бывший одно время его дядькой. Теперь он в одной из московских богаделен, куда Вадим Петрович поместил его лет пять тому назад.

Газеты, поданные Капитаном, произвели в Вадиме Петровиче новый наплыв раздражения. Он стал просматривать пестро напечатанные столбцы одного из местных листков и на него пахнуло с них точно из подворотен где-нибудь в Зарядье или на Живодерке. Тон полемики, остроумие, задор нечистоплотных сплетен, липкая пошлость всего содержимого вызвали в нем тошноту и усилили головную боль.

— Этакая мерзость! — вскричал он и бросил газетный листок на ковер. — Что это за город! Что это за люди, что за троглодиты! — громко dokonчил он и сильно позвонил.

Показались опять красные щеки Капитона с белокурым пухом вокруг подбородка.

— Позови Левонтия.

— Слушаю-с.

Вадим Петрович знал вперед, что Левонтий будет жаловаться на свое богаделенное житье и что ему надо будет дать пятирублевую ассигнацию. Когда-то он любил его говор и весь тон его речи, отзывавшейся старым бытом дворовых; находил в нем даже известного рода личное достоинство, вспоминал разные случаи из своего детства, когда Левонтий был приставлен к нему. До сих пор он, полусуштво, не иначе зовет его, как «Левонтий Наумыч».

— Батюшка, Вадим Петрович! — раздался уже шамкающий голос Левонтия.

Он вошел в дверь неслышными шагами, точно будто на нем были туфли или

валенки. Старик, среднего роста, смотрел еще довольно бодро, брился, но волосы, густые и курчавые, получили желтоватый отлив большой старости. На нем просторно сидело длинное пальто, вроде халата, опрятное, и шея была повязана белым платком.

— Здравствуйте, Левонтий Наумыч! — приветствовал его Стягин и поднялся с постели.

— Ручку пожалуйте!

Левонтий скорыми шагами устремился к руке, но Вадим Петрович не допустил его до этого.

— Как поживаете, Левонтий Наумыч? Книжки божественные почитываете? Чаек попиваете?

Побалагурить со стариком по-прежнему Вадиму Петровичу не захотелось. Левонтий сразу напомнил ему, как много ушло времени, сколько ему самому лет и как эта Москва полна для него покойников. И без того вчера, проходя по Молчановке, он насчитал целых пять домов, для него выморочных. Все в них перемерли, и теперь живут там какие-нибудь «обыватели», — слово, принимавшее в его устах особенно презрительную интонацию.

Так точно и Левонтий, с его запахом лампадного масла не то от волос, не то от его балахона, обдавал его кладбищем.

— Надолго ли, батюшка? — шамкал Левонтий, наклоняясь над ним.

— Да как дела. Хочу покончить со всем.

— Как, батюшка?.. Виноват... на одно-то ухо туговат стал я.

— Приехал все продать, — выговорил громко Вадим Петрович, и ему точно захотелось нанести старику чувствительную неприятность, сообщить ему об этом бесповоротном решении — ликвидировать и распрощаться с родиной.

— Дом изволите продавать?

Вопрос Левонтия вылетел почти с испуганным вздохом.

— И дом, и деревню, если хороший покупатель найдется.

— И вотчину?.. Батюшка!.. Как же это возможно!..

Глаза старика сразу покраснели, и две слезы покатались из них по розовой, точно восковой щеке.

— Затем и приехал, — все так же громко и как бы злорадно повторил Стягин.

— Господи!

«Разрؤмится старикашка, — проворчал про себя Вадим Петрович, — и пойдет причитывать!»

— Нечего делать, Левонтий Наумыч, такие у вас порядки, что зря, без всякого смысла, только разоряешься... Цен ни на что нет, дом пустой стоит, бумажки ваши скоро до четвертака дойдут... Слышали об этом?

— Ох ты, господи!.. Это точно, батюшка, все в умаление пришло... Скучость!.. А все-таки... дом продать... Папенька-маменька... дяденькабабенька — все жили... Опять же вотчина... усадьба... ранжереи, ананасницы...

— Вот что вспомнил!.. От ананасов теперь и навоза-то не осталось...

— Вотчина — дедина, — продолжал старик тоном тихого причитания, от которого Стягину делалось еще тошнее.

— Мало ли что! — почти гневно вскрикнул он.

Левонтий отошел смиренно к двери.

Ш

Дверь шумно растворилась.

— Лебеяднцев!.. Ты, брат?.. — удивленно окликнул Вадим Петрович.

Он не столько обрадовался приятелю, сколько удивился, что тот нашел его. После вчерашней неудачи с отысканием его переулка и дома Стягин хотел сегодня утром посылать за справкой в адресный стол.

— Небось удивлен, что я первый тебя нашел?.. Хе-хе!

Лебеяднцев — небольшого роста, блондин, с жидкою порослью на сдавленном черепе, в очках, с носом в виде пуговки и с окладистой бородой, очень небрежно одетый, засмеялся высоким, скрипучим смехом.

— Здравствуйте, Левонтий... как, бишь, по батюшке?.. — обратился он тотчас же к старику.

— Наумыч, батюшка, Наумыч... Покорно благодарствую... Скриплю-с, грешным делом, скриплю-с.

— Крепись, старче, до свадьбы доживешь!.. Ну, ты, Вадим Петрович, хорош... нечего сказать. Чтобы черкнуть словечко из Парижа или хоть бы депешу прислал с дороги!

— Да я адрес твой затерял, — оправдывался с гримасой Стягин. — Ваши московские дурацкие переулки...

— Нечего, брат!.. Ну, поздороваемся хоть! Вот физикус-то? Все кряхтит да морщится.

— Позволь, позволь, я еще не умыт!

— Экая важность!

Приятель звонко поцеловал его два раза.

— Да как же ты-то узнал о моем приезде? — все еще полунедовольно спросил Стягин.

— Видел тебя вчера издали... Кричу... на Знаменке это было... ты не слышишь, лупишь себе вниз и палкой размахиваешь... Другой такой походочки нет во всей империи... Вот я и объявился... Заехал бы вчера, да занят был до поздней ночи.

Тон Лебеяднцева в этот раз ужасно корбил Вадима Петровича.

«Как охамился!» — подумал он и собрался встать с постели.

— Левонтий Наумыч, подождите там, в передней.

— Слушаю-с, батюшка... Да вам не угодно ли чего?.. Умыться подать? Я с моим удовольствием...

— Нет, не надо.

Старик тихонько выполз из полуотворенной двери.

— Умываться по-прежнему будешь? — задорно и как-то прыская носом спрашивал Лебеяднцев, ходя быстро и угловато перед глазами Вадима Петровича.

— Послушай, Дмитрий Семеныч, — остановил его Стягин, — не арпантируй ты так комнату.

— Что?

Лебеяднцев расхохотался.

— Повтори!.. Как ты сказал... арпан... арпан... Это по-каковски?

— По-французски! — сердито крикнул Стягин. — Садись, пожалуйста, и кури... если желаешь... — А мне позволь умыться.

— Сделайте ваше одолжение! Вот петушится! Все такая же брюзга!

Стягин откинул совсем одеяло, опустил ноги с гримасой, хотел подняться и вдруг схватился за одно колено.

— Ай! — вырвалось у него, и он опять поднялся. — Не могу!

— Чего не можешь? — смешливо спросил Лебедянцеv.

— Ах ты, господи! Разве ты не видишь? Не могу встать! Колотье!

— Разотри суконкой!

— Суконкой! — почти передразнил Стягин и начал тереть себе оба колена.

Гримаса боли не сходила с его некрасивого, в эту минуту побуревшего лица.

С трудом встал он на ноги, потом оделся в свой фланелевый заграничный *coin de feu*⁶ и, ковыляя, прошел через кабинет в темную комнатку, где стоял умывальный стол.

— Ты ревматизм или подагру нажил, что ли? — крикнул ему вдогонку Лебедянцеv.

«Типун тебе на язык!» — выбранился Стягин про себя, волоча одну ногу. Ходить было можно, но в правом колене боль не стихала, совсем для него новая. Лебедянцеv болтал зря: ни ревматизмом, ни подагрой он не обзаводился.

Умыться он должен был наскоро. Стоячее положение поддерживало боль с колотьем в самую чашку правого колена. И в левой ноге ныло.

— Этакая гадость! — повторял Стягин, умываясь.

— Какая погода была по дороге? — крикнул ему Лебедянцеv.

— По какой дороге? — все с возрастающим раздражением переспросил Стягин.

— Ну, по Германии, что ли, до границы?

— Сырая, мерзкая.

— Небось в спальном ехал?

— В *sleeping car*, — назвал Стягин по-английски.

— Поздравляю! Вернейшее средство схватить здоровый ревматизм. Поздравляю!

— Глупости говоришь! — огрызнулся Стягин.

Боль не давала ему покоя. Он, через силу, закончил свое умывание и вернулся к постели хромяя.

— Не глупости! — задорно возразил Лебедянцеv. — Вернейшее средство, говорю я тебе. Не здесь же ты схватил эту боль!.. Ты посмотри, какая у нас погода стоит! Что твоя Ницца!

— В вашей вонючей Москве, — заговорил, все сильнее раздражаясь, Стягин, — разве есть возможность не заразиться чем-нибудь? Что это за клоака! Таких уличных запахов я в Неаполе не слышал... И неестественно-теплая погода только вызовет какую-нибудь эпидемию.

— Сыпной тиф уже есть... и скарлатина!..

— Чему же ты рад? У тебя дети есть, а ты хочешь!.. Это, брат, бог знает, что за...

Вадим Петрович хотел кинуть слово «идиотство», но удержался, да и в правое колено ужасно сильно кольнуло. Он застонал и прилег на постель.

— За доктором пошли, если приспичило.

Лебедянцеv опять заходил по комнате, скрипел сапогами и перебирал то